

Илья КОЧЕРГИН

РЫЦАРЬ

Как могло случиться, что, столько странствуя вместе со мной, ты ещё не удостоверился, что все вещи странствующих рыцарей представляются настоящими, нелепыми, ни с чем не сообразными и что все они как бы выворочены наизнанку?

Сервантес. Дон Кихот

Я приехал в заповедник осенью, в сентябре. Солнце целыми днями напролёт, разноцветные склоны гор, гольцы в новых снежных шапках на горизонте, – всё это было очень праздничным и обещающим.

Главный лесничий, привыкший к наплыву молодых романтиков, не глядя оформил меня на работу и поселил в заежке – маленьком домике у галечного пляжа, где жили уже три парня. Двое из нас ожидали вертолёт на отдалённый кордон, один только что вернулся оттуда, четвёртый весело обитал тут всё лето.

Дверь заежки в тёплые дни была распахнута настежь, мы валялись с книжками или разбредались по посёлку и окрестностям, а брошенные под койки рюкзаки надёжно хранили наше простое имущество, самым ценным из которого мог быть старенький фотоаппарат «Смена», болотные сапоги, книга о приёмах кунг-фу или томик стихов. Мы приехали из разных городов, но были похожи, и вряд ли кто-то из нас перевалил тогда за двадцатидвухлетний рубеж.

Питались сообща.

– Сегодня твоя очередь идти за молоком, – сказали мне. – Иди к Игорю Савинскому, он бесплатно даёт.

Следуя указаниям, я прошёл мимо деревянной трёхэтажной конторы, перебрался по маленькому мостику через Чеченек, вышел к отдельно стоящему большому дому над озером, постучался в дверь, о мои ноги на крыльце в это время заколотился хвост ласковой лаечки.

С молоком меня просто так не отпустили. Душистый борщ, хлеб только из печки, чай с вареньем. Валя Савинская уложила ребёнка и пела бардовские песни под гитару. С показным спокойствием и ревностью я слушал рассказы Игоря о том, ради чего я ехал сюда – о суровых походах на лыжах, о летних странствиях верхом по просторам заповедника, о медведях, браконьерах и зажаренной на костре свежей дичине. Ветер в грудь, снег в лицо и дикие просторы. Всё это должно было меня ожидать в ближайшем будущем.

Я даже сам взял в руки гитару и спел несколько песен. Обычно стеснялся, но не сегодня.

– Замечательно! – похвалили меня Савинские. – Только в этих песнях, вообще-то, совершенно другие мелодии.

Я стал смущённо спорить, уверял, что тщательно сверял значки над словами в песеннике со схемой аккордов в самоучителе, так что ошибки в мелодиях быть не может.

– Ой, не могу, ты – прелесть! – смеялась Валя, учитель музыки в местной школе. – Ты думаешь, что аккорды и мелодия – одно и то же?

Савинские весело и родственно порадовались моей музыкальной наивности, заставили съесть ещё тарелку борща и взяли твёрдое обещание снова прийти назавтра.

Так я познакомился с Игорёшей, моим старшим товарищем. С годами десятилетняя разница в возрасте, конечно, стала не столь заметна и важна, это обычное дело. Но так уж распределились наши роли: он старший товарищ, я – младший.

С тех пор за молоком для обитателей заежки ходил только я. Грелся в тепле молодой семейной жизни Савинских, радовался их весёлому дому среди сосен на взгорке над озером, слушал, как с улыбкой Валя осаживала своего мужа, когда он слишком распался в похвальбе от нерастраченных сил и азарта.

Нелегко было осадить Игорёшу, если он, налегая на согласные звуки, ломал крутые перевалы, рвал с плеча ружьё перед вставшим медведем, дотягивал на пределе сил самые трудные последние километры, отогревал потерявшие чувствительность от мороза пальцы, чтобы единственной оставшейся спичкой разжечь костёр. Мы выходили от Валиного насмешливого взгляда покурить и тут, на крыльце, уже свободно месили лыжами снег, тратили последние патроны и боролись за жизнь в трудной работе. Вернее, он боролся, а я бежал вприпрыжку за его рассказами и покрывался мурашками от предвкушения.

Потом этой же осенью он гостил у меня на кордоне. Их патрульная группа прилетела и готовилась к большому походу по границам заповедника. Веселовский со Спицыным остановились у начальника нашего лесничества, а Игорь – у меня в квартире.

Один из самых опытных, судя по всему, патрульщиков остановился у меня, а не у лесничего! Это возвышало меня в собственных глазах.

Проснуться от солнца, бьющего в холостячко-голые, без занавесок окна. Можете себе представить – дикое азиатское солнце, настоящее на рыжей хвое неподвижных лиственниц? Белые вершины на горизонте, склон горы за оконным стеклом. Запах сухого домашнего дерева, запах тайги, начинающейся за домом, ароматы брезента, конских потников, резины, кожи.

Затопить печку, сварить на ней чай. Завалиться обратно на кровать, поставить горячую кружку себе на живот, пускать дым в потолок. Что может быть лучше такого совместного со старшим товарищем мальчишеского утра?

Отправиться по окрестностям в праздном любовании пейзажем, который предвещает суровые мужские удовольствия. Вечером в темноте ловить голубей на чердаке и готовить из них похлёбку. В другой день варить суп из белок. Серьёзно и красиво шутить. Заваривать крепчайший чай, поскольку мы, таёжники, пьём только крепчайший. Списывать друг у друга стихи и слова песен. Рассказывать истории, в которые и сам под конец начинаешь верить. Обсуждать ножи и ружья.

Иметь в друзьях не придуманного, а самого настоящего Карлсона, у которого вместо пропеллера за спиной – ижевская вертикалка 16 калибра, на носу очки, на ремне нож, в зубах заточенная спичка. Который бывает столь же серьёзен и обидчив, если кто-то

вздумает усомниться в том, что он за один присест съест мяса больше, чем любой индеец, в том, что он способен подобно джеклондоновскому Смоку Белью пробежать полсотни километров, потом перепить всех мужиков и перетанцевать всех женщин.

Первый раз в жизни закарabкаться на коня, засёдланного для тебя Игорёшей, а потом ехать вдвоём по горным склонам, глядеть на уши своей лошади, на круп идущего впереди Игорёшиного коня, и вдруг в наступающих сумерках увидеть, как тайгу затягивает пеленой первого снега.

Через год я ещё погостил у него, в его доме у озера, пока увольнялся.

После этого ни у него не возникало сомнений, что, будучи проездом в Москве, нужно радовать и взбадривать эту Москву, нужно, чтобы эта Москва бросала все свои дела и мчалась на вокзал пить кедровую настойку, говорить за походы, устраивать хрусталь и звон бокалов.

Я тоже считал вполне естественным вдруг завалиться к нему, в его весёлый дом над озером с влюблённой в Россию иностранкой и ещё двумя прибывшимися по пути немцами, сосредоточенно искавшими расписание транспорта в сибирской глубинке, там, где отсутствуют всякие расписания, где начинается весёлая дорога, основанная на везении, бесконечном терпении, пофигизме, выпивке, дружеских братаниях. И вот ты распахиваешь дверь радостный, со своими иностранцами, а у Савинских ещё не очухавшаяся после родов Валя, грудной ребёнок и семь хиппи на постое. Но ничего не может помешать ночным посиделкам, песням под гитару и восторженным рассказам с яркими нотками Джека Лондона, Хемингуэя и Куваевско-Визборовским послевкусием.

В этом заповеднике Игорёша отработал семь лет. Семь лет Савинские прожили в большом весёлом доме на взгорке, с которого открывался замечательный вид на озеро и далёкие вершины. И в последний год его работы он опять позвонил мне, только уже не с вокзала по пути к маме, а из Новосибирска, после того, как посадил Валю с ребятами на самолёт.

– Москвич, узнал? Я рад. Короче. Намечается большой поход. Патрулирование границ заповедника и вахта во время нереста на Джулукуле. Примерно середина мая. Это мой последний поход в заповеднике. Потом увольняюсь. Валя уже уехала к родителям. Буду рад, если сможешь приехать. Сходим вместе, отведём душу. Имей в виду, что я настаиваю и перезвоню вечером ещё раз.

Надо сказать, что эпитет «москвич» в его устах звучал необычно. За время странствий по стране я привык к враждебному или брезгливому звучанию. А тут – нейтрально, примерно как марка автомобиля.

Я дразнил его иногда:

– Ты знаешь какой?

– Какой? – с надеждой и интересом спрашивал мой старший товарищ.

– Ты толерантный.

Он обижался.

И мы сходили в этот поход. Если бы не сходили, то моя жизнь сложилась бы гораздо менее удачно. Вернее, вовсе неудачно. Я, конечно, не могу этого утверждать, но могу чувствовать. К тому времени я пожил семейной жизнью и развёлся, оставил учёбу ради заработка, а заработок ради вина, меня стали окружать нехорошие люди, и мне казалось, что я издаю отвратительный запах, сколько ни тёр себя намыленной мочалкой.

Игорёша спас меня от чего-то плохого. Тоскливого и позорного, ставшего почти неотвратимым. Я еле добрался до его красивого дома из своей Москвы.

Нет ничего более оздоравливающего, чем бодро торчащая из зубов Савинского заточенная спичка, и огонёк в глазах в то время, когда к его костерку в рассказе подходят всё новые и новые волки. Мало того, что его, провалившегося под лёд, с трудом растящего огонёк в стылом лесу, окружает шесть волков. Тут ещё четыре. Ну и потом ещё два, чтобы получилась дюжина – приятное число.

И сам поход, конечно, был целителен. Всё сложилось идеальным образом. Нет, я неправильно формулирую, Игорёша сказал бы по-другому. Не идеальным образом, а просто – красиво! Студент, скажи – это же было красиво?

Я выбыл из трудной реальности и снова оказался в заповеднике, охранявшем наш с Игорёшей уютный книжный мир. Я погрузился в этот мир, как погружался в детстве, забравшись с приключенческим романом и банкой варенья на диван.

Женщины, живущие в этом мире, обязаны быть прекрасны, вернее, они автоматически становятся прекрасны, оказавшись в нём. Мужчины сильны и честны, собаки и друзья умны и верны, злодеи великодушны, природа целительна и коварна, пейзажи живописны и дики. Мясо желательно полусырое, с ножа. Слова «йогурт», «гендер», «фитнес» никогда не проберутся в этот незрелый и прекрасный мир.

Поход удался. Запас продуктов для нас и овса для коней обещались подвезти к середине нашего пути, но не подвезли. Мы напрасно протаптывали через перевал дорогу нашим лошадям к казахской пастушьей стоянке, куда должна была приехать машина. Но зато это было красиво – небо, перевал, мы с Игорёшей, ожесточённо сражающиеся со снегом, который через недельку сам собой растает под немыслимым солнцем.

Месяц жили тем, что уместилось в седельных сумках, это тоже было красиво с нашей точки зрения. Игорёша часто палил из ружья по улетающим уткам и куропаткам, однако везения ему не было. Нет, вру, однажды повезло – он руками поймал три жирных хариуса в ручье. Я вызвался пожарить, но ошибся. Оказалось, что их надо есть только сырыми, лишь слегка сдобрив солью. Только сырыми, жадно отрывая куски и блестя глазами. Косо летел снег, ледяная рыба шла с трудом, руки мёрзли, но мы справились.

– Селёdochка – слава и гордость стола..., – сказал Игорёша, выбросил обглоданный хребет и вытер руки о траву под ногами. Спросил, нравится ли мне Слуцкий? Я начал перебирать в уме инспекторов заповедника, но речь, оказывается шла о поэте. Игорёша читал стихи, я глядел на горы, кони уныло щипали прошлогоднюю травяную ветошь, темнело и холодало. Это происходило в самой середине нашего материка, на водоразделе, откуда на юг вода начинает стекать в монгольские степи, где потом пропадает в пустыне, а на север – начинает свой путь к Ледовитому океану.

– Светало; зябли; рыбу ели... – подвёл итог мой старший товарищ цитатой или Слуцкого, или какого-то другого неизвестного мне поэта. Но я улыбнулся и покивал, как будто стихи мне знакомы.

Несколько раз удавалось подкормиться за счёт нарушителей, приехавших на нерест. При задержании Игорёша изымал браконьерское транспортное средство, составлял акт о нахождении на заповедной территории, затем великодушно возвращал грузовик или мотоцикл в обмен на буханку хлеба или пачку сигарет. Никак по-иному распорядиться изъятой техникой не представлялось возможным.

Лучший обмен он совершил, когда мы заблудились и поймали чиновника с сетями. Вообще, мой опытный старший товарищ почему-то старался держаться знакомых ему троп и нервничал, когда они пропадали. Мазал по птице. Конь защемлял его под нависшим деревом или сбрасывал в реку. Очки его запотевали или терялись. Мы терялись. Наверное, это происходило для усложнения сюжета. И меня, вырвавшегося из трудной реальности, эти повороты сюжета совсем не беспокоили. Только радовали.

А в конце июня, когда он совершил свой блестящий обмен, мы заблудились, следуя вдоль ровного, как забор, хребта по открытому пространству. И случайно вышли к маленькому озеру, на стан управляющего делами правительства республики. Он с помощником как раз заканчивал ставить сети.

Начал валить густой снег. И мы выехали из этого снега – одинокие голодные всадники, и со стороны, наверное, не было заметно, что мы потеряли дорогу. Всё выглядело так, словно это часть плана. Набег хунзузов.

Хунзузов? Да, москвич, конечно, хунзузов. Безжалостные хунзузы неожиданно появились из снежной завесы, отобрали надувную лодку, порезали ножами двадцать сетей и составили акт на добытых хариусов в количестве семи штук. А потом снова пропали в снежной пелене. Так среди книжных корешков нашего мира я разглядел и Арсеньева.

Перед тем, как нам растаять в пелене, Игорь подобрал с земли трёх из семи браконьерских хариусов и пошёл на переговоры. Я и не надеялся на успех – пока мы резали сети, нарушитель кричал, размахивал корочкой и лез драться, так что пришлось даже пальнуть в воздух, чтобы остудить его. Хунзузы всегда такие, чуть чего – сразу стреляют.

Но расчёт оказался верный – вертолёт высадил браконьеров только сегодня, сетей у них теперь не осталось, а рыбки хотелось. И Игорёша вернулся с двумя булками хлеба. Три рыбки на две булки. А уже после этого мы уехали. Нет, студент, мы не уехали, а растворились подобно призракам в снегу, густо падавшем крупными хлопьями.

Сорок дней мы жили в нашем прекрасном мире, кони несли нас мимо древних каменных курганов, через бурные реки, перед нашими глазами уходила вдаль голая стена хребта Цагаан-Шибэту, а потом мы начали спускаться вниз, в позднюю весну, потом в лето, и перед нами поплыли поросшие тайгой, светлые от молодой хвои склоны. Все пейзажи, все следы на звериных тропках, дым костра в тумане, усталость после трудного дня в седле – всё это было своим, привычным, даже родным. Мы вычитали и полюбили этот мир в нашем городском болезненном детстве, пропуская школу с градусником под мышкой и книжкой в руках.

В самых прекрасных местах мой старший товарищ соскакивал с коня, топал ногой и торжественно глядел на меня:

– Вот здесь! – он делал пару шагов вперёд и назад, оглядывал горизонт, склонял голову туда и сюда, как художник, выбирающий натуру. – Если умру, то прошу похоронить меня именно здесь! И никак иначе.

Сначала я пытался запомнить все эти точки – опушку леса высоко над долиной Чулышмана, откуда на много километров открывался замечательный вид; крохотный лесок в пегом просторе Калбак-Кайи, за этим леском стояли три кругловатые вершинки, нарисованные чьей-то детской рукой; уютный затишок в ветренном раздолье Богояша; ледниковые гривки под Шапшальским хребтом; возвышенность в Узун-Оюке... Потом сбился. Книжные миры прекрасны и абсолютно безопасны, так что о смерти тут думать можно только понарошку, а говорить – для красного словца или для того, чтобы пока-

зять, что ты до самого своего основания потрясён пейзажем и хочешь поделиться своим восторгом со спутником.

Середину лета мы ходили в посёлке по гостям, валялись с книжками в руках на кроватях в доме на взгорке среди сосен, готовили дрова для школы, чтобы заработать немного денег. Игорёша учил москвича-студента, как нужно складывать поленницу, когда складываешь её для колыма. «Плотно укладывать не нужно, сквозь неё шапка должна пролетать».

Я колот сучковатые тюльки, Савинский взял на себя более сложную работу. За два дня ажурная поленница протянулась метров на пять от одной толстой берёзы до другой, потом завернула под углом к третьему дереву. Наконец, Игорёша отступил, сорвал с головы шерстяную шапку с петушком, метнул, и наполненные пустотой кубометры сложились, похоронив под собой шерстяной петушок. Это было неправильно, и он обиделся.

– Принцип понял? Всё, складывай сам теперь.

Закурил, стал уходить, потом засмеялся и вернулся.

– Ладно. Разве тебя оставишь одного? Эх, москвич, москвич...

В гостях, особенно когда присутствовали приезжие и туристы, я слушал его рассказы о нашем походе. Когда призывали в свидетели, смущённо и безъязыко кивал, подтверждая, что мы стаями сшибали уток и куропаток, не слезая с сёдел. На скаку стреляли по скатам браконьерских машин, устраивали засады и окружали. Ночные погони и пристывшие к стремянам сапоги, вычерпанные шеломами хариусы и жареные оленьи бока из Шервудского леса. Одним словом – хрусталь и звон бокалов, как любил говорить Игорёша. Прекрасная варварская молодость человечества. Было очень красиво.

Как-то вечером в дом постучались две подружки и долго, без всякой охоты пили предложенный чай. Одна сочная, другая посуше, обе навеселе. Игорёша был несколько напряжён, подчёркнуто вежлив. Ни словом, ни жестом не дал почувствовать их нежелательность, угощал печеньями и соленьями. Подругам было плевать на соленья, и оскорбительная галантность их, наконец, допекла. Ушли.

Игорёша сказал, что сочная трогала его под столом ногой. Она, наверное, никогда до этого не встречалась с людьми, носящими днём и ночью блестящие латы.

– В Валином доме в её отсутствие! Она же Валю знает прекрасно... Я чуть не выгнал её с матерками. Но сдержался! Ты видел? Я был предельно вежлив. Учись, студент. Ни что нас в жизни не может вышибить из седла! – такая вот поговорка у майора была.

– Это тоже Слуцкий?

– Москвич, ты дикий человек.

Игорёша не мог никого выгнать с матерками, он не матерился.

В августе сходили ещё в один последний поход, в сентябре он уволился.

А я снова оформился инспектором в заповедник, уехал на кордон и провёл ещё два счастливых года в поросшем тайгой книжном мире. В нашем лесничестве мы не ломали непроходимые перевалы, не дотягивали последние километры и не берегли последние спички. Мы просто проводили половину времени в лесу – верхом или на лыжах. Не держались набитых троп и поэтому не теряли их – тропы надоедают и ведут всегда в известные, надоевшие места. Иногда я чувствовал себя круче моего старшего товарища, это было приятно.

Иногда в таёжных избушках оставались номера литературных журналов от проходивших патрульчиков, один раз я нашёл сборничек французской поэзии в современных

переводах, а потом несколько дней подряд шевелил лыжами и губами, укладывая Малларме и Бодлера в ритм своих шагов по руслу замёрзшей реки. Как-то ночью в конце января я долго пытался подвыть стае волков, задирая голову к «изваянной в Монголии» яркой луне, потом вернулся в тепло избушки, где отдыхали мои товарищи, и из маленького радиоприёмника узнал, что умер Бродский.

Книги смягчили моё возвращение в трудную реальность из заповедника, бережно охранявшего поголовье романтиков. Хотя, конечно, основным парашютом послужила большая московская квартира. В этой квартире можно жить, ещё её можно сдавать и жить в меньшей по площади. Её можно продать в крайнем случае.

У Игорёши не было такого парашюта, а родной дом в Молдавии превратился за это время в захудалую за границу. Эти наши сословные различия нисколько не повлияли на то, как нейтрально произносил мой старший товарищ слово «москвич», но всё труднее было праздновать редкие встречи на вокзалах – Игорёша, пахавший в Питере в две смены охранником и сторожем по ночам, спешащий к семье с деньгами, бодрился, однако веки его закрывались, он с облегчением обнимал меня перед отправлением поезда и уходил в вагон урвать несколько часов сна. Ему не хватало времени и сил даже на книги, да они и порастерялись при постоянных переездах – из заповедника в Молдавию, из Молдавии в Йошкар-Олу, где лесникам заповедника «Большая Кокшага» предлагали благоустроенные квартиры в городе. Из Йошкар-Олы в Колпино под Питером.

Валю Савинскую манило люминисцентное свечение городов, казавшееся таким тёплым и праздничным из дома над озером. В Колпино она устроилась риэлтером, чтобы дети могли иметь йогурт и фитнес. Игорёша плохо вписывался в эту жизнь. Последний раз я видел их вместе, ещё держащихся за руки, на Ладого в начале двухтысячных. Потом любовь стала дальней. Игорёша служил ей на расстоянии, жил на работе и подкармливал семью деньгами.

Пару раз я помогал ему перетаскивать с одного московского вокзала на другой огромные рюкзаки – он ехал восстанавливаться в одиночные путешествия. То проходил по Байкалу, переваливал через водораздел и спускался по Лене. То сплавлялся по Тунгуске – не помню уже какой – Нижней или Подкаменной. Мечтал о выходе в Северный Ледовитый на своей байдарке.

Разок сходили вместе в байдарочный поход на Кольский. Я с женой и сыном, он один.

– На Донбасс добровольцем податься? – без особого азарта размышлял он, глядя в тихое озеро Ольче. – Испанский город... Не бывал. Но могу пари держать, что дыра. Помнишь, откуда это?

Речные пороги с коварными подводными камнями, дожди, морозящие с низкого полярного неба, куропатки, хохочущие над озёрами по вечерам, медвежьи и оленьи следы на прибрежном песке, – ему было хорошо. С торчащей изо рта спичкой, мокрый, весёлый, он отказывался малодушно обносить лодки по берегу и продирался вверх по порогам по пояс в воде.

Потом приезжал к нам на дачу, помогал строить баню.

– Врачи сказали матери, что не выживу. А она выходила. Я, правда, дохлый был всю школу, считай. С ребятами боялся общаться. Меня лес вылечил. Под Кишинёвом. Я все дни там летом проводил, пока мама на работе была. Там и книжки читал; погуляю, почитаю или посплю даже, если сил мало. Потом понял, что хочу работать в лесу, и стал

готовиться, гонять себя, закалять. Потом Лесотехническая академия, потом Валаам, потом заповедник.

Моей жене он казался слишком негибким. Они иногда сходились в спорах до обид и слёз. Жена со страстью начинающего психолога выявляла в нём всё непроработанное, что по уму необходимо тщательно проработать с толковым терапевтом. Все эти жалкие защиты и комплексы, показной мачизм и романтику. Он выявлял в ней все недостатки молодого поколения – их разделяло почти два десятка лет. Потом, конечно, мирились.

Я, набравшийся таёжного опыта на кордоне, начитавшийся новых книг за время московской жизни, успевший нырнуть в глубины тёмной экологии и воспарить в восходящих потоках постгуманизма, тоже с некоторым снисхождением слушал о покорении перевалов, жареной оленине, рёве набегающего медведя и последнем патроне. В нашем мире, по которому прошёл пал постмодернизма, кое-что из этого следовало немедленно сдать в музей.

Это ужасно неприятно – чувствовать снисхождение к старшему товарищу.

Последний раз он приехал в прошлом году, проведя безвылазно два года в Молдавии с выжившей из ума матерью. Похоронил её и сразу вырвался к нам.

– Представь – из дома редко выходил. Она то газ откроет, то потоп устроит, даже магазин иногда не выскочишь. С работой? А что с работой? – Другая страна, да и работы толком нет. Иногда думал – вот прямо сейчас сойду с ума. Но ведь не сошёл! Не сошёл! А, студент? Ничто нас в жизни не может вышибить из седла... Ты к Константину Симонову как относишься? Наизусть знаешь что-нибудь?

Игорёша стал совершенно седым за эти два года – и голова, и усы.

Мы совершили с ним маленькое совместное путешествие тогда – из Москвы на нашу дачу. Я рад, что моя машина была в ремонте, – нам пришлось вместе покупать билеты на вокзале, где я его так часто раньше встречал во время пересадок с одного поезда на другой. Мы оба были с рюкзаками – я с небольшим, Игорёша с огромным, в котором умещались все его вещи, а вдобавок чугунный казан, который он купил нам в подарок. Мы вместе глядели в окно, потом бежали, срывая дыхание, по перрону в Рязани на другую электричку, смотрели на её уходящий последний вагон. Потом сидели на рюкзаках полтора часа на тупиковом пути, курили, радовались аромату креозота, гудкам и голосу диспетчера, объявлявшего об отправлении электропоездов по разным направлениям. Купленные хачапури были вкусны, солнце ласково, люди приветливы и общительны.

– Я впервые свободен. Можешь себе представить? Первый раз в жизни. Сделал всё, что должен был, честно отработал, отнянчился, отзаботился. У детей свои семьи. В кармане полтора миллиона после продажи маминой квартиры. То ли квартирёшку маленькую поближе к своим поискать, то ли вернуться в систему заповедников? Как думаешь?

В эти дни мы варили вместе его любимую шурпу на костре, гуляли вдоль реки. Игорёша был необычно спокоен и благостен. Иногда ещё начинал проговаривать свою трудную жизнь последних двух лет, но она уже отступала, и он обрывал речь на полуслове.

По вечерам мы выходили курить на крыльцо моего дома, глядели на горизонт. Пусть рядом не было озера, а только маленький ручеёк Кривелёк, пусть дом стоял не на взгорке, поросшем соснами, но это был семейный и достаточно весёлый дом. Да ещё и построенный своими руками. В нём мы с женой проводили всё больше и больше времени

последние годы, мы почти полностью переселились в него, работая удалённо в этом тихом месте.

Дом явился моим компромиссом с трудной реальностью. Мы с этой реальностью долго притирались друг к другу – я, как и мой старший товарищ, мечтал о чутокках, камчатках и ходил на работу, которую ненавидел, растил сына и посещал собрания анонимных алкоголиков, радовался достижениям и успехам, ругался и мирился с женой, мучился от безденежья. Реальность – довольно блёкая штука для того, кто пожил в вычитанном мире, но постепенно можно себя уговорить, кое от чего отказаться и достигнуть некоторого соглашения.

– Только обратно в наш заповедник я не поеду. Не хочу. Из нереализованного – осталась одна более или менее крупная мечта – Камчатка. Хотелось бы вулканы посмотреть. Что скажешь?

– Я бы на твоём месте на Камчатку, – вяло советовал я.

– Да. Но с другой стороны, думаю, может, к своим поближе. Оттуда не наездишься... Но вообще, глянь мне в интернете на всякий случай телефоны Кронцоцкого заповедника или нацпарка там какого-нибудь.

Потом приехал в гости писатель Орлов. Утром мы не спеша обходили с ним ближайшие окрестности и он, заложив руки за спину, здоровался с жителями нашей вымирающей улицы. «Здравствуйте, здравствуйте», – говорил он, придерживая дужку очков, разглядывал их, кивал самому себе. Жители бросали дела и уважительно смотрели вслед, а Орлов мечтательно говорил: «Как я всё это люблю!» Заходил в волнующуюся рожь, ласково проводил ладонью по растущей культуре.

Вечером Орлов с Игорёшей сидели у костра возле ручейка. Попарились в бане, а потом сели посидеть. Сидели они замечательно. Успели по разику завалиться в темноту, но столик не перепрокинули, сами не ушиблись, и разговор, как и предполагается, планировался на всю ночь.

А утром Игорёша должен был закончить беседу, легко подняться на ноги, потянуться с хрустом и быть готовыми к маршруту любой тяжести, чтобы потом снова перепить всех мужчин и перетанцевать всех женщин. Правда, в какие-то моменты он начинал слегка шепелявить, я такого раньше за ним не замечал. Но спичка азартно торчала из уголка рта, седину в ночи не так и заметно, и очки ярко поблёскивали красноватыми отбликами. Впереди большак, подвода, старый пёс у колеса, – впереди опять свобода, степь, простор и небеса.

Он настойчиво рассказывал, как все его вещи один раз утонули, а его самого захлестнуло верёвкой и утянуло течением под завал. Кажется, в верховьях Лены.

Завалы громоздились, верёвка затягивалась и душила, счёт уже полчаса шёл на секунды, Игорёша всё больше и больше пришепётывал. Стало как-то неловко за старшего товарища, но я совсем не показывал вида. Да и за него ли это смущение?

Возможно, это было смущение бросившего пить человека во время весёлых посиделок. Да не возможно, а точно.

– ...лежу на дне умиротворённый и абсолютно спокойный... листики наверху проплывают... и вдруг такой луч солнца... яркий луч солнца... – Игорёша даже вскочил на ноги, вынул спичку изо рта и взмахнул ей, освещённый огнём среди темноты, словно дирижёр, призывающий оркестр к вниманию. – Понимаешь, солнце сквозь прозрачайшую

воду, сквозь рябь, сквозь струи... и я сказал себе – я просто не имею права сдаваться, чёрт побери! Я вспомнил про нож...

– Игорь, то, что ты рассказываешь... – стал протирать очки Орлов.

– Я рассказываю то, что со мной произошло...

– Я тебе верю, верю.

– Нет, ты можешь, конечно, не верить...

– Я всё-таки верю.

Потом они вместе сошлись во мнении, что самогонка от тёти Тани в разы лучше самогонки от тёти Шуры.

– Эту тётшурину лучше уберём на потом, а вот ту чудесную...

Дойдешь до дома, вернешься к костру с новой бутылкой, а разговор сместился, он уже о том, что мой старший товарищ изменил течение реки, чтобы достать свои затонувшие под завалом вещи.

– Игорь, я скажу, что это вполне себе подвиг из эпической поэмы...

– Один... никого... босиком, и только нож на ремне... И я сделал это. Я отвёл реку в другое русло.

И тут Орлов сказал важные писательские слова:

– Игорь, просто, понимаешь, ты – рыцарь.

– Да пошёл ты...

– Нет, Игорь, слушай меня. Ты – рыцарь. Всё. Тут ничего не поделаешь, нужно просто смириться. Вот есть разные люди, они по-разному... А ты вот такой. Твоё дело – подвиги. Каждый день, как зубы чистить...

– Негодяи вы, смеётесь над старым, лапотным, сиволапым, посконным, сермяжным человеком...

Остаток лета он провёл в Питере. Вывозил на Ладогу друзей и знакомых с детьми, жарил им на костре мясо, рассказывал байки, ловил окуней и готовил на решётке над углями. Людям всегда нравилось с ним на природе, они, наверное, чувствовали себя уютно и безопасно, как с книжкой на диване. Я их понимаю.

Он отправлял мне по вцапу фотографии жареных окуней и щучек, загорающих знакомых и их детей, а потом, в середине сентября вдруг выслал картинку, которая открывалась из окна его нового жилища – побуревшую к осени просторную долину реки, заросшую карликовой берёзкой, и высокий камчатский вулкан на горизонте.

Я показал картинку жене. Она рассмотрела её, растянув пальцами на экране телефона, потом изучающе рассмотрела меня.

– Хороший у тебя друг.

Потом опять вернулась к телефону и вулкану на горизонте.

– Меня всё это в нём так бесило, а сейчас, наоборот, думаю – он остался этому верным, и мне это так нравится. Он верный. Это как-то так...

Жена долго подбирала подходящее слово, но не вышло. Она просто прикоснулась несколько раз пальцами к своей груди где-то между ключицами и самой себе утвердительно покивала.

А ещё через месяц мне позвонил из Питера Серёга, у которого Игорь раньше работал и жил в мебельном цеху. Позвонил, чтобы сообщить неприятную новость.

Мой старший товарищ оказался в больнице Петропавловска-Камчатского с инфарктом и инсультом. Рак почки четвёртой степени с метастазами, который и спровоцировал всё это. Лечить поздно, ему обещают не больше месяца.

– Я с ним поговорил. Он слышит, иногда даже что-то вроде отвечает. Хотя и не поймёшь – что именно. С ним сейчас сын. Позвони ему, он будет рад, – сказал мне Серёга. – Так что, такие вот дела.

И я не позвонил.

Ходил вокруг телефона, готовился. Потом отложил на утро. Потом разозлился на Игорёшу и назначил себе время в обед, а в обед понял, что на Камчатке наступила ночь.

Так и не набрался смелости, а через неделю его не стало.